



Ян Калинчак

Монах

I.

Когда идёшь по дороге из Липтовской в Ружомберок, с одной стороны перед тобой открывается замечательный вид Липтовской долины; в вышине разглядишь уединённый храм Всех Святых, в котором, возвращаясь из похода против турок, Ян III Собесский, король польский, совершил богослужение, там же словно из тайного укрытия выглядывает белая башня Штявницы, а деревеньки, тут и там рассеянные меж чистых полей, зелёных лугов и голубых лесов, окружают её словно девицу венцом. С другой стороны увидишь Ваг – словно серебристая ленточка всю липтовскую долину на две равные половины разрубавший и своими зеленоватыми водами горам, любимицам своим, земле липтовской что-то шепчущий, – а сразу после Лискова – высокую скалу, которая сегодня нависает над шоссе и Вагом, а в древние времена непосредственно водами Вага омывалась.

Эту скалу, этот утёс и по сей день называют люди Монахом, намекая этим названием на нечто таинственное, что когда-то должно было здесь случиться, хотя на расспросы никто не скажет вам более того, что утёс этот зовётся Монахом, и что вытянулся он вдоль шоссе над Вагом так, что и впрямь напоминает исполинского вида человека, закопанного в землю по самую грудь. Так люди молчат о происхождении имён, рождённых игрой воображения, и всё же сохраняют в именах и названиях следы древних преданий.

Ясным июньским днём 1217 года можно было наблюдать двух всадников, которые, ведя оживлённую беседу, спускались в Липтовскую долину; судя по внешнему виду, это были необыкновенные, доселе невиданные в здешних отдаленных от большого света краях путники. Старший, с фигурой согбенной, лицом исхудалым, сухим, загорелым, поросшим длинной седой бородой и усами, был одет в чёрный, казавшийся от пыли коричневым балахон, опоясанный кожаным ремнём. Голову его покрывала пришитая к балахону, затеняющая лицо и защищающая его от ослепительного солнца шапка, из-под которой лишь тогда посверкивали быстрые чёрные глаза, когда всадник обращался к своему юному спутнику. Весь вид его свидетельствовал о том, что он был монахом.

Спутник его выглядел совсем по-другому. С головы до пят он был облачён в сверкающую сталь, покрытую очень широким и длинным чёрным плащом, на котором вдоль спины был вышит широкий белый крест. Стальной шлем висел на рукояти его меча, тогда как голова была покрыта красной, вышитой золотом шапочкой. Тепло весеннего дня и безопасность окрестностей принудили его снять стальной шлем, а вместо него надеть на голову легкую шапочку. Взгляд его спокойно скользил по окрестностям, пышные усы придавали суровой мужской фигуре выражение силы, а чёрное одеяние – твердой воли; развевающиеся на ветру волос вновь и вновь бил по покрытой сталью шее, производя негромкий, едва уловимый и всё же ясно различимый шорох, вполне достаточный, чтобы внимательный наблюдатель

мог различить, как волоски султана нашёптывают: «Смотрите, какой я важный, ибо образую корону над головой моего господина – сына горячей крови, крепкой воли и богатырского телосложения!»

Младший обраился к старшему: «И всё же, господин аббат, благочестивый отче, чем дальше мы продвигаемся, тем меньше я понимаю, что послужило причиной нашей экспедиции в эти глухие, удаленные от мира края; чем может послужить наше присутствие здесь святому делу освобождения земель, по которым ступала нога Спасителя; не понимаю, что может принести это Венгрии и непосредственно нашему ордену Святого Иоанна!»

«Есть тайны на земле и на небесах, – отвечал согбенный старец, – и не постигает их мир, разумом своим желающий всё понять; есть тайны, очевидные младенцу и человеку неиспорченному, которые в повседневной жизни побуждают к действию сердца и рождают воодушевление в груди людей, не знающих своей человеческой ценности. Ты судишь, сын мой, по обычаям своим чужеземным об этих окраинах, отдаленных от понятного тебе мира, и не догадываешься о том, что в этих немых, пустынных, гористых краях живёт народ, полный чувств, исполненный религиозного воодушевления, который – стоит только сказать ему: «Отдай жизнь за крест Спасителя!» – не только сегодня или завтра, но и во веки веков будет приносить жертвы за святую веру, за освобождение креста от ига иноверцев. Я недостойный служитель, – продолжал далее монах, – Господа моего, и могу ошибаться в своих суждениях, но как человек более осведомленный должен сказать, что ни у вас в пылкой Франции, ни в умной Германии, ни в осмотрительной Англии, ни в надменной Испании нет народа более набожного, чем живущий в Карпатах; и потому утверждая, что от вас зависит спасение христианства, вы забываете о народе более религиозном, более искреннем сердцем, чем вы».

Юный, закованный в доспехи мужчина улыбался, слушая согбенного, захваченного пылкостью своих слов старика, и было видно по выражению лица, по вскидыванию головы, сколько усилий он прилагает, чтобы улыбкой не оскорбить старика. Старец это заметил, и стало ему не столько горько, сколько тоскливо от сознания того, что его глубокие убеждения способны вызвать пусть даже немую усмешку. И всё же, сознавая свою правоту, он продолжал: «Так, господин комтур, именно так, потому что, во-первых, если мы хотим освободить Святую могилу, мы должны обладать религиозным воодушевлением; без этого нельзя, иначе мы не выстоим в боях и тем опозорим саму идею, которая должна быть чиста от каких бы то ни было посторонних устремлений; что же, во-вторых, касается жителей Карпат, то всем нам, кто сейчас или прежде пребывал меж ними, хорошо известно, что, охваченные религиозным воодушевлением, они более упорны в своих начинаниях, нежели вы – рассудительные в своих поступках, руководимые честолюбием либо личной выгодой. К тому же мы видим, что вы всё утратили, ревностно вступили в бой за святое дело, но не добились ничего,

ибо в душах ваших не было достаточно упорства, чтобы дольше выдержать в огне испытаний».

«Охотно слушаю вас, благочестивый отче, – отвечал младший из путников, – и мне приятно слышать из столь почтенных уст, что по сию пору пребывают в безвестности племена, ещё не известные людям своими деяниями, – и только два замечания хотел бы я присовокупить. Во-первых, что сама по себе религиозность в бою против обученных, облаченных в доспехи неверных ничего не значит; во-вторых, что народ сильный и доблестный волей своей всегда от начальников своих и от их воли зависит. Мне хорошо известно, что Святая могила по нашей собственной – разумея начальников, – вине снова в руках безбожников оказалась, и они, несмотря на отвагу и воинственность своих людей, не сознавая за собой вины, вернулись домой».

«На первый взгляд, господин комтур, – отвечал старец, – для вас хорошо, что народ наш легко обучается любому из возможных способов противоборства, и если однажды решится на военный поход, что для него тяжелее всего, то он, словно бы руководимый внутренним инстинктом, будет подчиняться своим начальникам и за короткое время достигнет воинской славы. Это первое качество хорошего воина, о начальниках позаботимся мы. Что же касается короля Ондreja и его решимости в этом предприятии, то мы уверены, что он людей своих не бросит и к возвращению домой не призовет, покуда не выполнит свой обет, данный отцу и церкви. Послушайте, господин комтур, – с ещё большей настойчивостью продолжал старик, – когда король Белла III умирал, он подвинул сына своего, Ондreja, дать клятву служить христианству, наказал ему пришить на спину крест, оставил ему для похода много сокровищ, призвал епископа ягерского и пятикостельского, чтобы он шёл с ним в Святую Землю и тем поддержал дело освобождения Гроба Господя. Случилось это в 1196 году. Что же получилось? По смерти Беллы королем стал старший брат Ондreja Имрих, который забрал у него все деньги, назначенные отцом для похода в Святую Землю; разгневанный этим, а также тем, что отец ему не завещал ни одного княжества, Ондрей собрал крестоносцев, и вместо похода на Иерусалим вторгся в Хорватию и Словакию и захватил эти земли. Так ненависть между двумя братьями надолго взяла верх. По смерти Имриха на трон взошел Ондрей и вспомнил о клятве, данной отцу, а мы, слуги Господа нашего, обязаны всеми силами способствовать его предприятию».

Старик закончил. Молодой неугомонный мужчина со вниманием выслушал его слова и заметил: «Всё это мне ясно, почтенный аббат, однако не пойму, почему послали именно меня, зачем понадобился человек из нашего ордена, который в Венгрии находит так мало сочувствия? Нам известно, что прежние короли в Венгрии дарили немецкому ордену обширные владения, в то время как мы никаких выгод из этих владений, включая и Тренчин, не нарушая уставов наших, извлечь не могли».

«Именно это я и должен вам объяснить, – произнёс монах. – Вам известно, что король Ондрей часто ссорился со своим братом, что последний

призвал в страну немецких рыцарей с их гроссмейстером Коном и наделил их обширными владениями, чтобы они ему в противостоянии с Ондреем помогали; и вот тогда Ондрей, по совету князей, которые стояли на его стороне, пригласил вас, орден Святого Иоанна, хотя перед этим сам одарил немецких рыцарей обширными владениями в Семиградском княжестве. Что касается вашей особы, – продолжал старик, – тут достаточно посмотреть на положение страны, и всё вам станет понятно. Король Одрей совершил большую ошибку. Братьев королевы, иностранцев, он поставил на высшие церковные и светские должности, чему воспротивилось высшее земаństwo, вознамерившееся королеву убить, а королевскую власть ограничить. Это остатки приверженцев Имриха. Мы успокоили страну ради высших целей, желая побудить короля к исполнению его обетов – отправиться в Святую Землю, что было бы невозможным, не будь он уверен в прочности своей власти. Всё сказанное теснейшим образом связано с нашим сегодняшним визитом в эти гористые края. Чтобы Ондрей спокойно исполнял свой долг, необходимо удерживать страну в мире и повиновении. Сейчас наша цель – спровадить самые горячие головы из страны в Святую Землю, и самый сильный среди них – владелец Липтовского замка Вельможин, к которому мы сейчас едем; если он присоединится к походу в Святую Землю, Северную Венгрию на случай похода можно считать надежной. Но с этим связаны ещё и другие выгоды. Вы только послушайте. Липтовский замок самый сильный в Северной Венгрии, пути Господни соединяют его с Оравой и Польшей. Ондрей захватил Галич и хотел бы его удержать, поэтому для него многое зависит от того, в чьих руках находится Липтов. Если Вельможин присоединится к экспедиции, – ради чего, собственно, я в мои преклонные года и путешествую в Липтов, – вы останетесь тут и не поедете в Тренчин, куда вас направили, поскольку и Северную Венгрию, и Галич из Липтова будете держать в узде. Архиепископ Острихомский сосредоточит в своих руках управление всей страной, а вы поддержите его с севера, в то время как комтур де Кроикс, которому доверены Хорватия и Долмация, поддержит с юга».

«Благодарю вас, благочестивый отец, за оказанное мне доверие, – ответил иоаннит, – и прошу извинить за то, что сразу не поверил вашим словам. Теперь мне понятно, что всё наше путешествие преследует важные цели, достижению которых, насколько это от меня зависит, я буду всеми силами способствовать».

Так меж собой беседуя, приближались два путника к Липтовскому замку.

II.

Взгляд путешественника, идущего вниз по шоссе, сегодня тщетно будет искать величественный Липтовский замок, а всё потому, что нынешний свет иначе бег дорог своих обозначает, чем это делалось в древние времена, и поэтому долины, прежде определявшие направление дорог, либо совершенно забыты, либо настолько отодвинуты в сторону, что никому и в голову не придёт искать там следы своих предков; а ещё потому, что Липтовский замок давно исчез. Его руины и по сей день можно увидеть в окрестностях Сельницы, напротив святоаненских лесов, где на протяжении веков главная дорога вела из Липтова в Ораву.

Это был могущественный замок, но ещё могущественнее – его господин. Пан Вельможин был потомком знаменитых предков, именем которых он мог по праву гордиться, поскольку венки, увитый лаврами собственной славы, издавна украшал его дом; поля его широкие тучнели золотистыми колосьями, а на лугах его взгляд любовался цветами самой разнообразной красоты. Горы, их у него было более чем достаточно, он был настоящим хозяином гор, поскольку именно эти утёсы где-то там далеко-далеко сманивали с неба на землю громы и молнии. У подножия гор, откуда источалось из земли течение чистых вод, в отсутствие снегов аппетитно пасся его разнообразный скот. На лужайках, возносящихся к небу, было у него множество шалашей и овец. Так звон колокольчика, бряцание спижовца¹, протяжное властвование фуяра – трубы пастуха и охотника – изо дня в день рассказывали о его силе. А холодные стены его дома были полны серебра, золота, и эти сокровища он не сообразно цене, а штуками считал. Он сын удачи, он могущественный господин, и именно сейчас в наибольшей славе раскрылась сила его.

Король Ондрей II направил к нему посольство, во-первых, досточтимого Уриаша, святомартинского аббата, известного своим благочестием и приверженностью королю, во-вторых, вновь назначенного тренчанского комтура из Ордена Святого Иоанна Иерусалимского Жильберта де Шато Каваллона, прославившегося доблестью в сражениях с неверными. Спустя полдня пришли в Липтовский замок менее значимые лица и слуги посольства.

Пан Вельможи, и без того гордый, расцвел от радости из-за признания королём его значения и силы.

Уриаш, муж почтенный, не скрывал от него, что король призывает его присоединиться к крестовому походу на Иерусалим.

Липтовский замок держал Липтов, Ораву, соседние столицы, а сверх того охранял Венгрию от нападения поляков и сдерживал Галич; потому хозяин его как для короля, так и для страны был важен вдвойне.

Пан Вельможин огладил длинную, чёрную, уже наполовину перевитую серебром бороду, охватил рукой лоб и отвечал Уриашу: «Достопочтенный

¹ Спижовец – бронзовый колокольчик.

отче! Вы правы в том, что полагаете Липтов столь важным, ибо покуда он стоит, вы можете не опасаться Польши, а паны в Северной Венгрии, пожелай они что-либо предпринять, должны либо в кратчайший срок Липтовский замок уничтожить, либо вернуться в прежнюю колею. Лишь одно хотел бы я на этот счёт заметить. К сожалению, нет у меня сына, и если выберусь однажды из этих мест, кто будет выполнять мою задачу, то есть сохранять тут верность королю, а там удерживать знамя Венгрии на землях Червонной Руси, Галича? Поверьте мне, достопочтенный отче, не меч, не сила телесная и многочисленность народа, но голова, способная угадать мгновение, в которое необходимо что-либо предпринять, решают предприятия, подготавливаемые десятилетиями».

Вельможин закончил. Уриааш смотрел на него. В первое мгновение оба не знали, о чем говорить далее, и каждый погрузился в свои мысли. Уриааш сознавал справедливость слов хозяина, но вместе с тем видел, что прославленному мужу трудно чужим стихиям, чужим людям отдать свои владения, свою собственность; а Вельможин, при всей своей преданности королю Ондрею, думал о детище своем единственном, о своей Мариенке.

А Мариенка, Бог мой, была единственным утешением его жизни. Жалко тебя, пан Вельможин, что не имеешь ты сына, наследника славы твоих предков! Но и не жаль тебя! Почему? Мариенка твоя, единственное дитя твоей покойной жены, – она твоя, единственная, а что сына у тебя нет, так из-за этого твое лицо никогда не покрывает туманная пасмурность. Да и зачем? Когда только глянешь на своё дитя, на Мариенку, разве твой взгляд не остановится на этом прекрасном творении Божьем? Лилия, чистая белая лилия ничто в сравнении с Мариенкой; с давних юношеских пор я мечтал о девушке, в сравнении с которой меркнет солнце, меркнут звезды и уж тем более утренняя заря – такова твоя Мариенка. – И пусть ты знаешь, что она у тебя есть, но знаешь и о том, что холодная смерть, увидав её, затрепетала бы от желания овладеть ею. – Потому-то тяжело отцу оставить душу любимицы своей без охраны, без защиты – в одиночестве.

Однако Уриааш, человек мудрый и набожный, недолго наблюдал за происходящим и обратился к Вельможину: «Сын мой! Ты прав, полагая, что не каждому дано удержать то положение, которое ты занимаешь в Липтове, однако король Ондрей по совету церкви и тут, как всегда, позаботился о сохранении твоей силы, Жильберт де Шато Каваиллон, известный воинской доблестью, полу-рыцарь, полу-князь, иоаннит, примет твои владения и сохранит, поскольку является самым предприимчивым и самым толковым членом своего ордена, хоть он и молод. Ты же послужишь примером другим земанам, чтобы они присоединились к предприятию, касающемуся всего христианства. При этом сила твоя если не увеличится, то и не уменьшится; сейчас необходимо без промедления решиться и призвать твоих людей к Крестовому походу».

Вельможи долго раздумывал над тем, как ему поступить, Уриааш постоянно подталкивал его к решению; и наконец Вельможин разослал гонцов по Липтову, Ораве, Турцу, Тренчину, Зволене, Спишу и Шаришу,

призывая земанство и простой люд под знамена Креста. Когда в Венгрии короли объявляли войну, они посылали по столицам гонцов, мчащихся с окровавленными саблями в руках в знак того, что земанство должно собраться в Рокоше для военного похода; сейчас так же поступил Вельможин, приказав собираться возле Липтовского замка.

Прежде чем вся экспедиция отправилась в Будин, устроил Вельможин в Липтовском замке славный пир.

Не забыл дитя своё единственное, Мариенку. Призвал к себе панов Липтовской столицы, держал с ними совет, представил им Уриаша и Жильберта и рассказал о своём намерении отправиться в Святую землю.

Когда всё было закончено и паны разошлись, задержал пан Вельможин у себя пана Имриха Алмана, удальца молодого, стройного и родовитого.

Спроси сегодня о семействе Алманов в Липтовской столице, ну так каждый скажет тебе, что проживают они в Бихаровцах, деревне вполне заурядной, и если прийти на ярмарку в Микулаш, либо в Лупче или в Ружомберок, непременно увидишь людей, что продают скрипочки за восемь крейцеров и другие детские игрушки; матери, желающие своим сыновьям привезти гостинец с ярмарки, толпятся возле них и даже не подозревают, что предки этих людей, занятых сейчас такой безделицей, были старейшим в Липтове земанским родом, числившим в своих рядах вице-канцлеров, губернаторов и других сановников. Так времена меняются.

Пан Имрих Алман был в доме Вельможина старым знакомым, и Мариенка, плод фантазий моей юности, смотрела на него как на друга своего детства, а когда детство закончилось, возможно, что и взглядом иным, только нам-то что до того – взглядом целомудренным. А жаль, что не на меня посмотрела. Ну да и без того ты воплощение фантазий! Пусть она существует! Ты, пан Имрих Алман, счастливее, чем я!

Пан Вельможин обручил свое дитя Мариенку с паном Имрихом Алманом, Уриаш, святомартинский аббат, благословил будущий союз; семейство Алманов порадовалось видам на увеличение численности семейства, Жильберт принял командование над Липтовским замком, и Вельможин отправился в сопровождении земанства и простолюдинов в Будин, откуда король Ондрей отправлялся через Хорватию в Святую Землю. Хорватия отозвалась старинным военным призывом хорватского народа: «Vivat Vanus cum Croatis!», и пошли венгры с хорватами в полном согласии под знаменами короля Ондрея в Святую землю.

Ш.

Жильберт де Шато Каваиллон принял дела Липтова, обосновался в Липтовском замке и вскоре по всеобщему оживлению видно было, что искусственный воин беглым взглядом осматривает вверенные ему окрестности. Комтур Жан де Кроикс, принявший дела Хорватии, на правах начальника направил ему подробнейший план обороны Северной Венгрии от посягательств Польши и настроенных против короля магнатов, и с той поры по северным столицам развеялся на ветру черный плащ с вышитым белым крестом, при этом от столицы к столице он перемещался с такой стремительностью, что, казалось, ни конь, ни его хозяин выдержать этого не смогут.

Где бы ни находились сторонники короля, они должны были снова – и на этот раз совершенно иным способом – укреплять свои замки.

Всегда неутомимый, всегда напористый Жильберт сумел превратить своевольное и упрямое земанство в самый послушный инструмент своей воли, поскольку люди обнаружили в нем разум, опытность и волю, способные стать основанием их собственного успеха.

Не раз случалось, что Жильберт, утомлённый собственной деятельностью, садился, склонив голову на обе руки, и размышлял то ли о своих начинаниях, то ли о других, лично его касающихся предметах – кто его знает.

А тут была Мариенка, которая смягчала его заботы и на челе его разглаживала морщины. И как же хорошо мужчине, когда тонкая рука женщины с душою нежной и мягкой словно воск, чарующая прелестью своей разглаживает на лбу морщины, прогоняет дурное настроение и тревоги сердца. И почувствовал Жильберт, что эта женщина, разумеется, слабая, могущественна в своем влиянии на мужскую душу.

Не раз он вздрагивал. Вздрагивал, взглянув на это прекрасное творение Божье, когда она подходила к нему, улыбаясь милым личиком, сияя гладким челом и ясными очами – о Боже! – такими ясными, такими наивными, так горячо искрящимися.

Не заблуждайся, Жильберт, не твои это очи и не для тебя они сверкают!

Ну и что? Что ему до того? Мне ли, тебе ли очи сверкают, лицо улыбается, чело возвышается над всем, а душа – душа, думается, желает и обнаруживает родники своих тайн не столько в словах, сколько в тайном дрожании голоса, которого не понять человеку, живущему лишь для того, чтобы жить, думающему лишь о том, о чём должен думать, ощущающему блаженство или печаль, которые принёс ему день вместе с первыми лучами солнца, и утрачивающему эти ощущения едва только солнце зайдет.

Не такой была душа Мариенки, и это почувствовал Жильберт, и был потрясен до основания.

Посмотрел он на девушку, дума его отступила, гордость его склонилась и тайные чувства пришли в движение в его душе. Хорошо ему было при этом

и в то же время так жутко. Обнял бы он девушку – но она невеста другого мужчины – и всё же так мило с ним разговаривает; обнял бы он девушку, но он монах – и это конец, на века конец его желаниям, ибо обет, нерушимый обет однажды данный, никогда не может быть взят назад, стальными оковами скована его свобода, и это навсегда.

Геройская душа, стальная воля – на что они тебе? Нет у тебя, нет на свете будущего; нет утешения твоему сердцу, нет освежения твоей душе; девушка невеста, а ты – монах!

И никого-то на свете нет, кто бы прогнал заботы с твоего чела, нет никого, кто бы согрел твое окаменевшее сердце, нет никого, кто послужил бы тебе наградой за все беспокойства твоей жизни – одна только Мариенка.

Более никого на свете нет.

И ты – монах, она – невеста.

Жалко тебя, Жильберт!

Однако когда ниоткуда на свете помощи нет, душа, душа мечтательная, душа чувствительная, душа потрясенная чувством, неведомым людям обычным чувством, – о Боже! – таким добрым, таким возвышенным, таким неземным проникнута, что человек нигде, нигде на свете не находит более глубокого, более благородного успокоения, чем в песне; ибо песня поливает маслом раненое сердце, песня возвышает слабость мысли, песня поднимает человека над повседневностью до вершин остроумия, оживляющего сердце.

Песня – это родник, из которого изливается душа, изливается человек, так что если бы он, стеная в оковах незнатности и подчиненности воле бездушных людей, её не знал, он должен был бы заплакать от сознания того, что является человеком.

И Жильберт искал утешения в песне.

Мариенка возле него, возвращающегося после странствия по дорогам ей неведомым, суетится невинно, обыденно, думая лишь о том, чтобы угодить своему приятелю; но он отворачивается от неё, и всё же устремляет на неё стрелы взглядов, когда полагает, что она этого не замечает, грудь его начинает волноваться, дыхание становится прерывистым, в лицо ударяет необычайный жар, и между глаз, откуда начинается чело, заметна игра то сдвигающихся, то раздвигающихся бровей.

В таком вот волнении кипели чувства в сердце, метались мысли в голове одна за другой, словно молнии в час ненастья мечутся одна за другой в тучных, оловянно тяжёлых облаках, накопившихся за время знойных летних дней.

Пусть там, глубоко на дне души, бушует что угодно, но Мариенка этого замечать не должна, и рука Жильберта тянется за гитарой, а голос сквозь дрожащие уста монаха звучит так проникновенно, так потрясающе, что песнь его не только грудь слабой чувствительной девушки, но и каменные стены замка способна преодолеть.

Он пел по-французски, и песнь его сверкала чувством в Татрах ещё неизведанным.

«Ради Бога, что с вами?» – спрашивала Мариенка.

«Того, что происходит со мной, девица, – отвечает Жильберт, – тебе не понять; так зачем об этом говорить?»

«Почему нет, пан Жильберт? Я вас так люблю, мне так приятно слышать ваш голос, что меня охватывает грусть, когда я вижу на вашем челе печаль, в ваших глазах – печаль, и из уст ваших слышу только печаль».

«Из уст моих? Какое дело тебе до моих уст?»

«Мне есть дело до ваших уст, ибо я слышу, слышу дрожание вашего голоса, порой я шепчу ваши слова, смысл которых мне совершенно непонятен, но я чувствую, что у вас что-то болит, и болит так сильно, что у меня слёзы на глаза наворачиваются».

«Да, моя девица, – отвечает со сверкающими очами иоаннит, – возможно, возможно ты поняла, какую боль скрывает мужчина так глубоко, в самом потаённом из закоулков его души; но знаю я, что тебе не понять, как ледовый панцирь, образовавшийся на груди человека, холодом своим может превратить его боль в студёный камень, холодный и твёрдый, который конечно же тяготит человека узилищем, в которое он заключён, но извлечённый на свет, совершенно иным огнём опалает и льдом остужает, и вводит в заблуждение лёгкостью своей, и губит тяжестью своей всё, что ни встретится на его пути, не оставляя за собой ничего, лишь пустоту!»

Взгляд иоаннита при этом потух; лицо его приняло выражение твёрдое, уста сомкнулись, и только на губах можно было заметить незначительное и всё же заметное движение. И по глазам, и по челу, и по выражению лица можно было прочесть, что под поверхностью внешней телесной оболочки скрывается вулкан души страстной, в котором кипят величайшие бури, которые не способны отразить прилив бескрайнего океана.

Девушка смотрела на него своим чистым взглядом долго-долго, сама не зная отчего, вдруг вздрогнула, и грустью наполнилось его сердце, да только он не знал почему.

Однако, как это обычно на свете случается, женщина гораздо быстрее в руки себя возьмет и в счастье, и в несчастье, в печали и в радости, так было и с Мариенкой.

Жильберт стоял, скрестив руки на груди, голову подняв и на девушку так поглядывая, словно течение, с лихорадочной стремительностью в нём циркулирующее, но на поверхность прорваться не способное, в душу её излить хотел.

Тут Мариенка стряхнула с себя мимолетную озабоченность и, улыбаясь, произнесла: «Но, пан Жильберт, не говорите мне ничего подобного, право, я ни единого слова не поняла из того, что вы наговорили».

«Ты права, моя девица, – отвечает Жильберт, – и счастлива, покуда этого не понимаешь».

«Так почему же вы выражаетесь таким образом? Ага, вы мудрый для других, но не для себя».

Жильберт слегка улыбнулся, чуть повёл правым плечом и отвечал: «Верно, Мариенка! И раз уж ты мудрее меня, сделай из меня человека,

который будет смеяться, когда ему хочется плакать, будет плакать, когда ему хочется смеяться».

«Ах вот оно что! Ничто вас не забавляет, и вы полагаете, что все на свете должны крутиться вокруг вас, а другим ничего. Поверьте, поверьте, что не один юный пан, бывающий в доме моего отца, охотно исполнил бы моё желание ради того, чтобы лишний раз посмотреть на меня, развлёк бы меня немножко».

«Разумеется, Имрих Алман иначе не поступил бы», – ответил Жильберт.

«Вот именно! Особенно он. А вы всё блуждаете по свету, а когда возвращаетесь домой, лицо ваше холодно словно лёд, неподвижно слово кованая сталь, чело ваше словно из камня, глаза, кажется, смотрят лишь потому, что должны смотреть, а уста – те шепчут мне непонятные слова, а когда запоют о чём-то, меня мороз по коже пронизывает, хоть я ничего и не понимаю».

«Хм, – усмехнулся Жильберт и погладил длинную черную бороду, – если тебе не нравится моё пение, так спой мне ты что-нибудь, и увидишь, как я научусь на твой манер».

«Так ли? – отвечает Мариенка, – ну, так дайте мне руку, пан Жильберт!» И взяв его правую руку в свою маленькую, мягкую, изящную ручку, она хлопает ладошкой по его правой руке и грозит ему пальцем: «Но вы должны дать мне слово, что будете так же веселы, как и я, и будете мне петь, как я вам, хотя вы в этом лучше меня разбираетесь. Ну а теперь слушайте». И стала петь:

*Ej, lúčka, lúčka zelená!
Poznala som si na lúke, lúke môjho jeleňa.*

*Janičko malý, neostaralý,
Dobre by sme si, Janko, Janičko, k tebe pristali.*

*Tráva zelená, rosa studená!
Prečo vás spája slnka, slniečka žiara červená.*

*Preto nás spája žiara slniečka,
Že sa vokrada l'úbosť l'úbenka nám do srdiečka.*

*Prečo by sme ty k sebe pristali?
Že sme sa dávno, Janko, Janičko, už radi mali.*

*Эй, лужок, лужок зеленый!
Встретила я на лужке-лужочке моего оленя.*

*Яничко маленький, нестареющий,
Хорошо бы, Янко, Яничко, к тебе присоединиться.*

*Трава зелёная, роса студёная!
Почему нас соединяет солнышко, солнца сиянье красное.*

*Потому нас соединяет сияние солнышка,
Что прокралась любовь, приязнь в наши сердечки.*

*Почему же мы соединились?
Потому что давно, Янко, Яничко, любим.*

«Ну, не понравилась вам эта песенка, пан Жильберт?» – спрашивает улыбаясь Мариенка.

Жильберт не ответил на это ни слова.

«Ну же, ну, скажите хоть слово, пан Жильберт», – взяв его за руку, говорит девушка.

«Оставь меня в покое, дитя моё, – сурово отвечает иоаннит, – у человека, который всё изведаль, утратил всё, состарился в непрестанных трудах и ничего не ожидает на этом свете кроме смерти, нет слов при звуках веселой песни».

«Эй, эй, старичок, – говорит насмешливо Мариенка, – ваши волосы так побелели от старости, что чернее угля и лежат так спокойно на вашей шее, что от этого покоя развеваются возле лба и ушей, словно змеи; и знаете, счастлива женщина, которая может гладить их или перебирать рукой снизу вверх. А взгляд ваш, Боже мой, эй, старичок, – улыбаясь и пальцем грозя, продолжает она, – эй, он уже на самом деле совершенно погас, ничего не видит и не изливает, подобно живому роднику, в грудь каждой девушки, на которую взглянет».

Жильберт направляет взгляд свой влево, вправо, и голова его склоняется. Он произносит словно самому себе: «Давно это было!»

«Что давно? – расслышав это, быстро произносит Мариенка. – Ах да, вы старик, вы тот, кто всё изведаль, вы тот, кто ничего более на свете не имеет».

«Не имею».

«Не имеете... даже если бы ничего не имели, один долг вы всё же за вами. И знаете какой?»

«Нет».

«Ага, вы просто не хотите знать, уж я-то знаю, каковы все кавалеры. Сперва обещаете, а потом не держите слово». И опускает голову, словно разгневалась.

Жильберт, который до сей поры стоял, скрестив руки на груди, поднял голову, посмотрел на неё не сурово, а так, как смотрят на забавные выходки детей, и произнес: «Ну и какой же это долг?»

«Вот видите, обещали мне, что если я спою, то и вы споёте, а сейчас онемели, словно и не было никаких обещаний».

«Ну, теперь понимаю, – отвечает Жильберт, – но ты же говорила, что не понимаешь моих слов, и всё, что из уст моих исходит, замерзло прежде, чем отозвалось из груди в голосе моём».

«Верно, я так сказала; но вы не отпирайтесь, лучше спойте ту, что вчера напевали, ибо это была такая... я не знаю какая, но мне так плохо было от неё, и всё же я видела, что вам стало легче, когда вы её спели».

«Если хочешь, так и быть, изволь!» – прошептал Жильберт, без церемоний взял в руки гитару и запел:

*Vlны Jordána jasné a čisté
si tečú povolným tokom,
i keď sa slnce do nich nahliada
i mesiac studeným okom;*

*ale keď templár i johanita
na jeho pozrie krištále:
to sa rozvodní, to sa rozbúri
na oči jejich požiare.*

*On sa rozvodní, on sa rozbúri
i syčí neznámym tokom,
bo ho zatriasli ľudia to mnísi
prísnyim svojím tmavým okom.*

*Ľudia to mnísi, ľudia to tvrdí,
čo v srdci len boj chovajú
zato, že im svet všetko odobral,
i nič viac jak boj nemajú.*

*Toho zradila špatná milenka
toho zradil brat vlastný,
toho zas otec, toho zas žena,
u ktorej býval preššastný.*

*Na svete nič im viac nezostalo,
bo neveria v šťastie sveta,
tak keď kráčajú po brehoch rieky,
do nej ich cit tupý lieta.*

*A preto syčia vlны Jordána,
keď johanit v nich sa zhliada,
bo i tá rieka cíti, čo je to
nám najmilších ľudí zrada.*

*Волны Иордана ясные и чистые
текут свободным потоком,
когда солнце в них заглядывает
и месяц холодным оком;*

*но когда тамплиер и иоаннит
посмотрит на их хрусталь,
тогда разольётся, взволнуется
в их глазах пожар.*

*Он разольётся, он взволнуется
И журчит неизведанным течением,
Поскольку его потрясли люди монахи
Своим строгим тёмным взглядом.*

*Люди эти монахи, люди это суровые,
Что в сердце лишь битвы хранят
Потому что у них свет всё отобрал,
И ничего кроме битв они не имеют.*

*Того предала безобразная возлюбленная,
того предал собственный брат,
того отец, а того жена,
с которой он был счастлив.*

*На свете ничего у них более не осталось,
поскольку не верят они в счастье света,
потому, когда бредут они берегом реки,
в неё их чувство тупое летит.*

*И потому шипят волны Иордана,
когда иоаннит в них смотрит,
ибо и река чувствует, что это
самых любимых нами людей измена.*

Нахмурилось лицо Жильберта и звуки песни трепетные так зазвучали, что в них не простое, обыденное, подражательное, от другого исходящее, но собственное чувство закипело, вызвало душевный порыв; девушка смотрела на красивого, сурового, опечаленного мужчину и с лица её исчезала весёлость. Чувствительность, которой обладала Мариенка, уловила различие между звучанием песни обыденной и полетом души, которая в словах песни выдыхает частицу своего краткого на этом свете бытия. И взяла она его за руку, и произнесла, глядя невинным взглядом ему в очи:

«Но, пан Жильберт! Неужели действительно с вами так приключилось, как в песне поётся?»

«Оставь меня в покое, дитя моё, и не буди воспоминания!» – ответил он.

«Зачем мне их будить, – отвечает девушка, – и без того видно, как они у вас в голове роятся и прорываются во взгляде, прорываются в выражении лица, прорываются в содрогании звуков вашего голоса. Видите ли, пан Жильберт, я девушка юная, с детства приучена со всеми говорить искренне, и более всего радуюсь, когда могу кому-нибудь облегчить сердце, будь он даже последним нищим. Как видите, – продолжает девушка, задушевно ему в глаза заглядывая, – вы мне не настолько чужой человек, ну так скажите, что тяготит ваше сердце, и увидите, что вам станет легче, так же как мне легче становится, когда я могу хорошо-хорошо выговориться, если меня что-либо мучает».

Жильберт посмотрел на её искренне умоляющие глаза, и суровый, неуступчивый человек стоял перед нею так же, как сильный лев стоит перед слабым человеком, своим укротителем. Однако мужской нрав никогда не желает обнаружить, что побеждён более слабой стихией, и защищается до тех пор, пока по крайней мере не найдет какого-нибудь предлога создать хотя бы видимость последовательности; так было и с ним. Именно поэтому он ответил: «Девушка, ты прекрасна как цветок в час весенний, но беда, если бы обрушилась на тебя и невинное сердце твоё зимняя стужа, ибо тому цветку лучше было бы, если бы не явил он свой наряд, такой симпатичный, прелестный; вот так же и девушке гораздо лучше, если не узнает она, что стужа способна охватить сердце человека».

Мариенка лишь покачала головой и ответила: «Знаю, знаю, пан Жильберт, что вы сказать хотите, но не бойтесь, моё сердце не завянет, если вы мне о себе расскажете, поскольку сам рассказ может вызвать только сочувствие, только печаль или весёлость мысли и, стало быть, в этом случае лишь облегчение вашему сердцу».

«Но ты мне, дитя моё, слишком дорога, – заметил Жильберт, – чтобы мог я невинность твою омрачить примерами того, как может женщина предать себя, предать дыхание души своей, предать самые тонкие движения своего сердца ради никчёмной выгоды, продать возлюбленного своей юности, своих снов, продать сияние солнца с собственного небосвода – за кусок, за кусок, за кусок!» И он закрыл чело рукой, не думая о том, что этим выдает то, что прежде намеревался скрыть.

Однако Мариенка открыла его лицо и, задумчиво глядя ему в глаза, произнесла: «Она была красива, прекрасна?»

«Если рука Господня на кого-либо из людей изливает все сокровища красоты, если над кем-нибудь засверкает солнце небесное, чтобы тепло своё излить на чело, на лицо, на уста его и дать ему силу, и возмутить кипящие в сердце чувства, и усыпляет мысли человека гармонией неземного голоса, не только звучанием слов, но трепетанием, звуком дыхания, исходящего из груди человека, то, очевидно, сотворили это Создатель и солнышко, его слуга, прежде всеёго для Хелены! – так говорил Жильберт, но после короткой паузы, уставившись взглядом на Мариенку, произвольно произнёс: – Но её душа? – и голос его был тягучим, замедленным,

трепетным, так что и девушка затрепетала при этих словах, сама не зная почему, ибо голова его при этом несколько раз качнулась, он отвёл свой взгляд, а оживлённость его исчезла и на челе словно тучи набежали, те, что отражают и боль сердца, и тяжесть воспоминаний, и затуманенность мысли.

Девушка пришла в себя быстрее чем монах и произнесла спокойным голосом, поскольку женщины способны быстрее подавлять движение чувств: «Ну, теперь я всё поняла, пан Жильберт. Хелена была прекрасна, вы её любили, она вас любила, но оставила вас ряди другого потому, что с ним ей виделось больше благ земных».

«Именно так, дитя мое!»

«Тогда прошу вас, говорите, расскажите мне, как это было».

«Видишь ли, моя девица, – отвечает Жильберт, покорённый участием девушки, – вот как это было. Отец мой был младшим братом в знатной семье, и потому был отправлен в Испанию искать достатка, которым старший брат его пользовался по праву первородства. Военская доблесть нашего рода увенчала его славой, король Алонсо Кастильский щедро одарил его завоеванными кордовскими землями. Я был его единственным сыном, и однажды двенадцатилетним был разбужен ночью шумом и криком; слуги метались по замку и взяли меня с собой, сам не знаю, как они со мной выбрались. Помню только то, что мавры напали на замок, расположенный на границе владений, подожгли его, и что отца я больше не видел. Поскольку владения наши были захвачены, ребёнком отвезли меня во Францию к дядюшке. В это же самое время привезли к нему маленькую девочку из Испании, так же как и меня, от дальней родни по линии жены».

«Это была Хелена».

Жильберт прикрыл глаза, но спустя немного времени продолжил: «Братец мой Генрих был на несколько лет старше меня, щуплый, сутулый, но добрый малый, коль скоро дело не касалось его особы. Втроем забавлялись мы в детские годы – Хелена, Генрих и я, покуда не выросли.

Не знаю, как это произошло, была ли это лишь привычка, был ли это всего лишь сон или это было чувство, давно хранимое в груди, но однажды спросил я Хелену, не пойдет ли она со мной на рассвете на берег Роны. Она схватила руку мою с такой жадностью, какой я прежде у неё не видел, и сказала: «Когда хочешь и куда хочешь, мой Жильберт».

Затрепетало моё сердце волнением прежде непознанным. Пошли мы на берег Роны и ступали неспешным шагом, спускаясь к волнам, то спокойно, то стремительно текущим, срывали мы цветы, головки свои к водам реки склонившие, и чувствовали, что жизнь наша должна быть подобна реке, в хрусталь которой не только вглядываются очи невинных цветков, желая видеть в них образ свой, но и купаются в этих водах, чтобы освежить свою красоту.

И хорошо, так хорошо было у меня на сердце.

Брели мы далее берегом реки рука об руку, смотрели друг на друга, и думали мы, и чувствовали, что её чистый взгляд впитал в себя мою душу, а мой взгляд словно острый меч проникает прямо ей в душу. Мы не

обмолвились ни словом, но по её дыханию понял я, что в груди её то же волнение, что и в моей, и очи наши, присматриваясь к челу, к блеску глаз, к лицу, к устам, ко всему-всему, что так или иначе касается одного или другого, были знаком вечного соединения. Сели мы после долгой прогулки. Что мне было до целого света? Лицо её я держал в руках своих. Целовал её чело, два глаза, две щеки, два уголка губ, ямку на подбородке. И она впиалась в уста мои так, словно до дна, до самого дна, до внутренностей груди моей проникнуть хотела... Впрочем, девица, – продолжает он далее, отвернувшись от Мариенки, – тебе этого не понять. Вы тут такие холодные, вы такие нечувствительные, что вам неизвестно это состояние, когда душа вливается в душу и дыхание одного сливается с дыханием другого так, что не знаешь что с этим делать, и что за одно единственное мгновение отдал бы пятьдесят жизней и сто миров.

Так это было, и словно малое дитя горячо, сердечно, отрешённо думал я, что дыханием единственной из женщин божество изливает на меня потоки небесной росы.

Стоит ли далее говорить об этом? Прожили мы несколько прекрасных месяцев; то была весна нашей жизни, и она цвела таким буйным цветом, что если бы правдой было описание магометанского рая, он должен был бы померкнуть перед накалом и блеском минут, тех, когда человек, скрывающий свои пригрешения перед лицом доброго, всегда им уважаемого приятеля, бывает застигнут при совершении дурного поступка; ибо любовь наша была чиста как сияние небес, когда засверкает оно во всём величии своём в час ночной, поверхность земли затемняющий, и была она так горяча, как солнце, что в летнюю пору растопляет и те льды, что за сотню лет накопились на ваших вершинах, и настолько пронизывала она всё нутро человека, что могла бы и всю нашу землю проткнуть, пронзить её мощью своей, вспыхнуть напротив солнышка и спросить его, по какому праву смеет оно сиять над людьми так же, как оно».

Жильберт был восхищен, но воспоминания о временах жизни прекрасной, которые он вернуть не в силах, вывели его из себя, ибо правая и левая рука, словно подхваченные волшебным потоком, поднялись вверх и закрыли лицо, охваченное восторгом.

Мариенка подобных слов не слышала никогда, она готова была заплакать, волнение охватило её грудь, словно бы неким электрическим способом перелился в её хрупкую женскую фигуру поток чувств Жильберта. Затрепетала она – впервые в жизни. Но не заблуждайся, Жильберт! Не принимай это на свой счет. Это лишь так – хотя именно так оно и было.

Девушка дышала всё глубже, глаза её засверкали и, повинувшись своей искренней натуре, она схватила Жильберта за руки и с неведомой прежде настойчивостью произнесла: «Продолжайте, продолжайте, пан Жильберт!»

Однако тот опустил руки, свесил голову, отвернулся и ответил предельно кратко: «Зачем?»

«Затем, – настаивала девушка, – чтобы я знала, что с вами случилось!»

«Случилось, случилось! Ну, слушай, дитя моё, – говорит Жильберт очень мягко, нежно. – Сидели мы однажды с Хеленой на берегу Роны и смотрели на поток, стремящийся к морю, чтобы исчезнуть навсегда, соединившись там с водами, накопившимися за тысячелетия... Рука в руке, лицо к лицу смотрели мы друг над руга и говорили друг другу, что и течение нашей жизни будет таким же неразлучным, пока не достигнет предела и не раствориться в потоках вечности. Мы обнялись, поцеловались, и этот поцелуй длился долго-долго, ибо душа хотела вместить в себя другую душу, чтобы совокупно, неразлучно пребывать друг с другом и, так умножив свои силы, противостоять любым превратностям судьбы... Вдруг за спиной мы услышали голос совершенно спокойный: «Ну, когда-нибудь это кончится?»... Мы оглядываемся и видим двоюродного брата Генриха, который стоит позади нас. Если когда-нибудь неприязнь возникала в моём сердце, то это было тогда впервые. Что мне за дело до него, если я своею собственной душой впитываю свою душу, хотя и пребывающую в другом теле?

Уже и не знаю, как я на него покосился, но он, приятель мой, холодно усмехнулся и произнес: «Ну-ну, не бросай на меня такие дикие взгляды, всё одно твоему счастью скоро придёт конец». И, улыбаясь совершенно хладнокровно, повернулся и пошел прочь.

Холодом охватило моё сердце.

По возвращении домой позвал меня дядюшка к себе и сказал мне: «Сын мой! Доблесть отца твоего принесла ему имя и состояние, сегодня ты беден, ты сирота не располагающая ничем, кроме славного имени своей семьи и имени твоего отца; и потому ты должен сейчас искать то, что нашёл твой отец, славу имени нашего рода и состояние.

Я вздрогнул подобно осине, зная, что означают эти слова.

Дядюшка продолжал: «Сын мой! Через неделю ты отправишься в Святую землю, чтобы в рядах христиан сражаться за то, за что воевал твой отец в Испании».

«Нет, – отвечал я, – я не сделаю этого, ибо счастье жизни моей цветёт только на берегах Роны. Отдайте за меня, дядюшка, Хелену, и тогда вы увидите, что имя семьи, как и имя моего отца, племянник ваш прославит на берегах Роны, как не удавалось ни одному из членов нашего рода».

Дядюшка покачал головой и ответил: «Ты молод, неопытен и, бесспорно, откажешься от своих притязаний, когда получше всё рассмотришь и обдумаешь; теперь знай, что Хелена давно обручена с Генрихом, а ты сам должен достичь какого-либо положения в свете».

Не помню, что происходило со мной в это мгновение, помню лишь то, что глаза мои ничего не видели, уши ничего не слышали, что мрак окутал и душу, и мысли мои. Хелену я любил больше отца, больше всего, что человеку дорого на свете, и сразу почувствовал твёрдый, бесповоротный приговор, что Хелена – душа души моей, – моею не будет никогда.

«Девушка, – произнёс Жильберт, вдруг схватив руку Мариенки, – знаешь ли ты, что происходило в моей душе?.. Это было смятение, боль,

потрясение всей моей сущности! Не понимая, о чем идет речь, я кричал: «Дядюшка, спросите Хелену, что она на это скажет, нет, нет! Она вам скажет, что никогда не станет женой Генриха».

Дядюшка оглянулся совершенно спокойно и крикнул Хелену. Он спросил её, чьей женой она хотела бы стать, и она дрожащим голосом ответила, потупив очи: «Генриха!»

«О, Бог мой! – воскликнул я, закрыв обеими руками склонённое чело, глаза и лицо. – Несколько часов назад что было с тобой, и что сейчас? Прежде душа души моей была со мной, а сейчас?!»

Ну да о чём ещё говорить? После тех слов я заскрипел зубами, покосился на Хелену и, сложив руки на груди, сказал дядюшке с напускным спокойствием: «Дядюшка! Я отправлюсь в Святую Землю». При этом Хелена стояла как ни в чем не бывало, а дядюшка улыбнулся спокойно и сказал: «Я так люблю тебя, сын мой любезный, ты доброе дитя, я знал, что ты послушен и покоришься своей судьбе».

Дядюшка говорил, Хелена смотрела, но никто не подумал о том, как скверно было у меня на душе. – Мне было скверно, очень скверно, – а они полагали, что так проявляется моя разумность, моя покорность!

Ну да что о том говорить? – поморщив лоб, тряхнув головой и махнув рукой, сказал Жильберт. – Довольно об этом. Отправился я в Святую землю и стал там иоаннитом. А ты, Хелена, делай что хочешь; пусть тебе Господь Бог помогает так же, как ты уничтожила дни моей жизни!.. Ну что тут? Наденешь, человеке, широкий плащ, расшитый крестом, сядешь на коня, вытянешь из ножен меч и поражаешь им души людские, и топчешь умирающих конскими копытами. Хорошо, пусть умирают, раз уж в моей груди умирает и умереть должно то, что было в ней самого человеческого, самого красивого».

Тут взгляд Жильберта разгорелся и всё существо его воспламенилось так, что Мариенка затрепетала и всё же с напряжением слушала рассказ Жильберта.

Мариенка говорит негромко: «Неужели, пан Жильберт, вы могли сохранять спокойствие, убивая людей, которые вам никогда ничего не сделали?»

«Нет, дитя моё! Не было для меня большей радости, чем выколачивать души из тел людских, ибо и я хотел, чтобы они со мной поступили точно так же, и чем скорее, тем лучше. Я не знал другого чувства, кроме чувства долга; и не было у меня иного желания, кроме желания навеки сложить свою голову на этой земле, в которую загнали меня те, кого я любил более всего на свете. И когда чувства в твоей груди не просто замёрзнут словно сосулька, но умрут так, словно на третьем свете похоронены, тогда тебе всё едино – ты ли страдаешь или кто-то другой страдает. Видишь ли, дитя моё, таким должен быть иоаннит и тамплиер, и только тогда он является иоаннитом и тамплиером».

«Тогда вы должны быть суровыми людьми, – отвечает Мариенка. – У нас таких людей нет, а если бы они были, я бы их боялась. Но это война, без

сомнения, сделала вас таким, а не беспокойство в вашей душе. Но подождите, – насмешливым голосом добавляет девушка, – вы станете другим, когда подольше у нас побудете и вдоволь надышитесь липтовским воздухом».

«В самом деле, не будем об этом, ибо я всё пережил, всё испытал и так хорошо знаю самого себя, что поворот в душе моей уже невозможен!»

«Нет-нет, пан Жильберт, – отвечает Мариенка, – это неправда; я вас уже знаю и потому говорю вам, что вы ещё не всё испытали, и что сами себя ещё не знаете; а я вас уверяю, что вы Хелену забудете, и сострадание к себе и к людям обретете, – уверяю вас в этом – да-да-да!»

Дыхание замерло в груди у Жильберта, взгляд его затянулся пеленой и сосредоточился на Мариенке, долго-долго.

IV.

И с этого времени Мариенка могла делать с Жильбертом всё, что ей вздумается. Его бывшая работоспособность сникла, его распоряжения стали краткими, но всегда решительными и благодатными. Охотнее всего он пребывал возле Мариенки и редко покидал Липтовский замок.

Девушка буквально засыпала его шутками и веселыми рассказами, и не раз случалось, что суровый мужчина волей-неволей предавался ребячьим забавам.

Жильберт и Мариенка были неразлучны.

Воинским распоряжениям Жильберта подчинялись все до одного, поскольку боялись его; все, но только не старый Ондраш, который едва завидев Жильберта тотчас сворачивал в сторону, качал головой и раздражался кашлем. Ондраш с юношеских лет жил в доме отца Вельможина; затем служил в доме, катал в тележке дитя своего господина Мариенку, пел ей и сказки рассказывал в её детские годы, был свидетелем её рождения, детства и расцвета. Словом, Ондраш был скорее членом семьи, чем слугой, поскольку кроме Парижовец, где он родился, более нигде не бывал, только в Липтовском замке. Поэтому и в хозяйской семье, и в доме ему разрешалось всё, что он хотел.

Сейчас ему более всего не нравилось, что Мариенка, его собственное дитя, которую он на коленях вынянчил, играл с нею и при этом поседел, сейчас на него даже не смотрела. Выходя из замка, она более не говорила ему: «Ондраш, ступай со мной», – или: – «Ондраш, подойди ко мне». Она не говорила ему более: «Ондраш, подай мне то!» – «Ондраш, принеси мне это!» Для него многое зижделось на том, что он был единственным человеком в замке, который знал, где и что, до последней нитки и иголки, из вещей Мариенки лежало. И сколько раз приходилось Мариенке смеяться над тем, когда Ондраш, угодить ей желая, горничную локтем отталкивал, когда она в его присутствии хотела выполнить приказ своей госпожи. Привычка и

безграничная его преданность ребенку, Мариенке, не допускали, чтобы кто-либо пользовался большей благосклонностью его куколки. Его ни мало не беспокоило, что делает господин со своими слугами на охоте, в боевых походах, ему это было безразлично; но когда сам Вельможин своё дитя в чем-либо упрекал или давал ему советы, тут Ондраш всегда появлялся со своими мудрыми замечаниями и резонно возражал даже своему господину. Он постоянно оберегал Мариенку как зеницу ока и не допустил бы, чтобы на неё даже ветер подул.

Сейчас Ондраш ходил по замку с понурой головой, не глядя ни налево, ни направо, постоянно что-то бормоча себе под нос, и казалось, что больше о Мариенке не заботился. Та этого даже не замечала, но наконец ей всё же бросилось в глаза, что старый слуга всё путается и путается у неё под ногами, что разговорчивость его словно рукой сняло.

«Что с тобой, Одрашко, что?» – спросила она его.

«Ничего».

«Нет, ты скажи мне, грешная душа, почему ты онемел?»

«Зачем?» – был ответ.

«Ондрашко, в своем ли ты уме?»

«Хм».

«Разве тебе чего-нибудь недостает?»

«Спрашивай об этом других, а не старого Ондраша, – отвечает слуга. – Какое вам до этого дело?»

«Да ты же полный дурак, Ондрашко!»

«Право, в этом не было бы ничего удивительного, поскольку сегодня в Липтовском замке я больше не нужен, хотя я служу уже пятьдесят лет, и всегда верой и правдой. Сейчас, когда панне Мариенке нужно поднять веретено, поднимает уже не Ондраш, а тот чужой прислужник; когда у неё из ткацкого станка выпадает челнок, подаёт его всё тот же прислужник; когда ей нужна была шерсть, приносит её прислужник; когда хочется поговорить, льнёт к прислужнику; когда панночка идет прогуляться, об Ондраше и речи не идет – рядом с ней только прислужник. Вот она благодарность, – вздохнул Ондраш, словно бы сам с собой разговаривая. – А ведь я её на этих коленях вынянчил».

«Ах, Ондрашко, ну, теперь я знаю, откуда ветер дует, – отвечала Мариенка насмешливо, – и должна тебе сказать, – добавила жалобно, – что я сама себя позволила бы заживо похоронить, если бы что-то такое грозное произошло. И потому, несчастная душа, терпи, только терпи».

Но Ондраш поднял голову и отвечал вполне определенно: «Надсмехайтесь сколько угодно, мне безразлично, но сейчас здесь нет хозяина, и пана Имриха нет, и я этого терпеть не могу. Скажите же мне, – продолжал слуга сурово, – панна Мариенка, может этот чужак хочет взять вас в жёны?»

«Ну, Ондраш, смотри, какой ты глупый, – отвечает она ему серьезно. – Как же он может взять меня в жёны, если он монах?»

Ондраш рассмеялся саркастически и говорит: «Монах? Монах! Монах! Вот, вот, вот, прости меня Боже за монаха!.. Сам я никогда ещё монаха не видел, кроме тех двоих, что у нас в часовне нарисованы, один из них за свои собственные и наши грехи себя по спине хлещет, а второй на коленях стоит и, руки сложив, Господа Бога просит, чтобы он смилостивился над нами, грешными людьми, а ещё того пожилого, который сюда с этим молодцом пришёл, но и он был смиренным, благословлял и говорил с нами как отец, так что все мы на колени падали, когда он к нам обращался! К тому же одет он был в такой наряд, что даже старый Ондраш получше и помягче носит. Вот это был монах! Таких монахов и видеть приятно! Но этот? Этот может быть монахом? – Да он даже молитвы не знает! По крайней мере ничего подобного пока ещё никто не слышал. Ну да, он знает другое! Когда панна Мариенка идёт направо, он тоже косится направо и язык его крутится словно мельница, разумеется, не во время молитвы, а рядом с нашей Мариенкой. А когда наша панночка прядёт, так он её по руке хлопает, чтобы у неё из рук веретено выпало и он мог бы его поднять; когда она сядет полотно ткать, он присоединяется и нарочно рвёт нити, чтобы вместе с ней их искать; когда вяжет, он присоединяется и выдёргивает у неё спицы. И одеяние на нём точно монашеское, как у того пожилого господина, что привёл его сюда! Ага! Так на нём сверкает, как не сверкает в алтаре у святых, поскольку оно, как говорят, из шёлка, о котором мы понятия не имеем; и при этом он носит саблю и железные доспехи, как наш хозяин – да, хорош монах, замечательный монах, – крутя головой, закончил Ондраш.

«Ондрашка, – сказала на это Мариенка, – я и не знала, что ты такой плут и всё видишь».

«Хм, – ответил старик, – видишь, не видишь, если бы только это видел, куда ни шло, но что ухо услышит, за это пан Имрих поблагодарил бы».

Мариенка теряла терпение и уже хотела разом Ондраша оборвать, как вдруг отворилась дверь.

В помещение вошел Жильберт.

Он посмотрел на Мариенку пытливym взглядом и заметил, что Мариенка впервые перед ним опустила взгляд.

Он на это не отреагировал.

На Ондраша даже не посмотрел.

Поднял голову задумчиво, снова глянул на Мариенку, да таким взглядом, словно её, всю её фигуру, всё её существо вобрать хотел, и сказал: «Ну, Мариенка, пойдём?»

«Пойдём».

И они ушли.

Ондраш окаменел, уголки его губ опустились, взгляд его упёрся в дверь, через которую вышли молодые люди, пока наконец не опомнился, покачал головой и сам себе произнёс: «Не к добру это, Ондраш! Коль скоро нет здесь ни хозяина, ни пана Имриха, ты должен видеть за двоих, за двоих слышать, чтобы с нашей деткой ничего не случилось, иначе добром это не кончится».

И кто же кроме Одраша озаботился? Жильберт нет, и Мариенка тоже нет.

Жильберт взял девушку под руку, наклонился к ней, заглядывал ей в глаза, произнося галантные фразы, и под конец сказал: «Если б ты знала, Мариенка, как мне сейчас хорошо!»

«Вот видите, пан Жильберт, – отвечала она, – я же вас предупреждала, что у нас вы поправитесь, и что лёд с души вашей именно у нас, в этих заснеженных землях, спадет. Да! Уж я-то знаю! И мне приятно сознавать, что придя в Липтов вы смогли среди нас, людей холодных, отогреться, ожить, в то время как ни поспешность выезда, ни горячее солнце Франции не могли прогнать тучи с вашего лица. Расскажите, расскажите мне, как же вы в Липтове оказались, поскольку у нас людей на вас похожих нет, да мы о них раньше и не слышали».

«Ну, для этого достаточно нескольких слов, девица моя, – ответил Жильберт. – После гибели Иерусалимского королевства христиане переместились к морским берегам, где сарацины оставили им для проживания несколько городов. Но когда они начали снова не только на паломников, но и на эти города нападать, тогда остатки христиан возненавидели своих давних неприятелей и призвали орден Иоаннитов с острова Родос и тамплиеров, ещё живших в Святой земле, и вторглись в неприятельские земли. Но сарацины стянули силы и из Египта, и из Сирии, и ударили на нас. Христиане сражались стойко, но потерпели поражение, иоанниты и тамплиеры, глядя хмуро, оценивали толпы неприятелей, и по команде гроссмейстера молча, спокойно, словно ночные призраки набросились на толпы сарацинов. Люди корчились под конскими копытами; шум, плач, вопли страдания слились воедино, и эта мешанина возносилась к облакам словно лестница, достигающая до небес, по которой обычная будущность расчищает себе дорогу к вершинам мира, которым лишь через тысячу лет проявиться должно. Иоанниты и тамплиеры не обращали на это никакого внимания, а шли всё дальше и дальше, неся за собою смерть. Однако в усердии своём, в своей уверенности в победе не видя ничего, не слыша ничего и не замечая, что сарацины обходят их с тыла и фланга. – Вдруг стрелы полетели сбоку; пожилой гроссмейстер оглянулся и видит натиск со всех сторон. Его худая, высохшая фигура возвышается на коне, он рассылет комтуров на четыре стороны и остается один. В этот миг сарацины ударили на его горстку и его высохшая фигура, его состарившаяся рука ещё сильнее свирепствует среди неприятелей, а широкий плащ его на ветру развевается словно священная хоругвь, во мгле над землей поднимающаяся. И увидел я его в одиночестве, и подскочил к нему, и отражал от него удары неприятелей, покуда мне не удалось освободить старца, уже не помышлявшего о том, чтобы остаться в живых.

Гроссмейстер видел, что всё потеряно, ибо остатки наших – не в силах одолеть натиск сарацин, – терпели поражение, и если где-либо виднелось несколько черных и белых плащей, развевающихся в воздухе, это воспринималось нами так же, как орел тем сильнее распростирает свои

крылья, чем бесспорнее, что тысячи пернатых, его окружающие, дожидаются лишь минуты, когда начнут выклёвывать мозг из его величественной головы.

Множество наших погибло, и среди них было три комтура. Гроссмейстер созвал кафедру, тихо, без каких-либо торжеств. Лицо его было исполнено печали, брови нависали над исхудавшим лицом и над стреляющими в разные стороны глазами подобно черным тучам, которые в знойный летний день нависают над землей. Старец рассказал о положении ордена, напомнил о больших потерях и приступил к провозглашению комтуров для французов, испанцев и англичан. Комтуры провозглашаются из числа самых прославленных в боях воинов, и гроссмейстер рекомендовал французам одного из самых юных – меня. Однако я воспротивился этому, и выбор пал на Жана де Кроикса. После долгих совещаний об укреплении и реорганизации ордена постановили созвать всех рассеянных на западе братьев, послать туда новых, чтобы они призывали молодёжь вступать в наши ряды. Ондрей, король венгерский, был благосклонен к нашему ордену и к крестовому походу, и потому нашего комтура и меня послали, чтобы мы в отсутствие короля с одной стороны укрепляли влияние нашего ордена и в то же время сохраняли мир в этих доселе неведомых нам землях.

«И вы об этом сейчас не жалеете, – произнесла, выслушав долгий рассказ, Мариенка, – правда же, пан Жильберт?»

Иоаннит не ответил.

И взяла его девушка добродушно за руку, и произнесла: «Видите, пан Жильберт, у нас вы стали спокойнее, ваше лицо прояснилось, вы не думаете о сражениях и любое ваше приказание слушают больше, чем королевское».

«Это ещё не всё!» – ответил иоаннит.

«Всем человек обладать не может, – перебила его девушка. – Но наши замечательные леса, наши душистые луга, наше ясное солнышко, наш чистый воздух и глаз радуют, и так наполняют грудь человека, что он просто обязан радоваться жизни. Ну а вы, пан Жильберт, наверное тоже, я права?»

«Возможно».

«Возможно – невозможно, – говорит Мариенка, – уж я-то вижу, что это так! И при этом хотите оставаться таким рассудительным, что не сознаётесь в этом, и всё же я знаю, что вам из Липтова уезжать не хочется, и что понемногу вы и о вашей войне забудете».

«Не буди воспоминания, – отвечает хмуро Жильберт, – не стоит спящему льву шептать на ухо о дремлющей в нём силе, ибо если он проснётся, стряхнет с глаз пелену и стремительно наверстаёт упущенное время, с особой старательностью высматривая вокруг тот предмет, на котором он мог бы испытать свои силы».

«Уж вам я, пан Жильберт, не поверю».

«Поверишь, девица моя, – отвечал на это иоаннит, – в то, что искра под пеплом может тлеть долго, но стоит ветру подуть на угли, как разгорится она и зажжёт угли вокруг себя, и подожжёт тысячелетние леса, и уничтожит их».

«Ах! А я этого не боюсь, – говорит Мариенка. – Вы уже отвыкли от войны; и ещё вам кое-что скажу... вы уже забыли ... и Хелену».

Жильберт не ожидал услышать это имя, тем более, что с того момента когда доверил Мариенке свою тайну, более о ней не вспоминал. Он задумался, понурил голову и потупил взгляд, но вдруг поднял его, глаза сверкнули и разгорелись пламенем, подобно тому как в душный вечер задрожит воздух в чистом небе; он схватил девушку за обе руки и холодным уверенным голосом произнёс: «Ты права, девушка! Когда ранней весной дуб раскрывает на своих ветвях почки и распускает свежие листья, уже не вспоминают об опавших, унесённых ветром листьях. Утихло волнение в моей груди, образ Хелены исчез из моей души, остался от него только туман. Но и он с новым рассветом моей жизни поредел, пока наконец не взошло моей солнце, и это мое солнце – ты».

«Я, пан Жильберт?» – спрашивает нараспев изменившимся от удивления голосом Мариенка.

«Да, ты, – говорит уверенно Жильберт. – С тобой я обрел покой, с тобой я не думаю о сражениях, не думаю о Хелене. Твоё участие в моей судьбе, твоя забота обо мне, твоя приязнь, твоя беззаботная, всегда нежная улыбка раскололи лёд, сковывавший душу мою. Жильберт живёт в тебе, дышит твоим дыханием, смотрит твоими глазами. Мариенка! Пусть Жильберт станет для тебя тем, чем ты для него стала – и он на руках своих вознесёт тебя туда, куда не способны достигнуть даже вершины ваших гор, и ты засверкаешь в славе своей так, что пол мира будет тебе завидовать».

Чем далее говорил иоаннит, тем более краснело лицо, тем более расширялись его глаза, а сам он становился похожим на великана, который, познав свою мощь, полагает, что все на свете должны ему покоряться, что он является осью мира, вокруг которой всё вращается.

Мариенку одолевал страх, озираясь по сторонам, она произнесла: «Что с вами происходит, пан Жильберт? Чего вы, собственно, от меня хотите?»

«От тебя, Мариенка?.. От тебя ожидаю силы и твердости, ибо ты единственная, кто способен разогнать мои печали, твоя нежность и приязнь способны развеселить и согреть думы мужа сурового, который рядом с тобой становится мягким, словно воск. – Чего я хочу?.. Хочу, чтобы ты любила меня так же, как я тебя».

Эти слова Жильберт произнес стремительно, и это затруднило его дыхание, а глаза его смотрели на Мариенку так, словно он хотел проникнуть внутрь её и наблюдать движения её души.

Однако девушка понемногу оправилась и отвечала: «Пан Жильберт, это невозможно. Я невеста Имриха и сохраню верность ему; а вы монах, и не станете нарушать обеты, данные при вступлении в ваш орден».

В Жильберте вспыхнула прежняя страстность. Лицо его стало похожим на хмурый осенний вечер. И всё же он вновь возвысил голос, волнение в своей груди удушая: «Нет, девица! Ты не можешь стать женой обычного человека! Твои нежные чувства требуют иной пищи. Ты создана для меня! Ты будешь словно плющ обвиваться вокруг меня и зеленеть свежестью своей даже тогда, когда у других растений листья опадут, а у всех прочих женщин лица увянут... было бы очень жаль, если бы ты погибла возле обыкновенного

человека. – Я монах? Хорошо! На свете есть кое-кто, кто способен разрешать от данных обетов. Объединимся с дядюшкой и будем вместе просить Святого отца, чтобы он освободил меня от обета безбрачия, да и король Франции сам за это возьмется, и ты, Мариенка, выйдешь за меня».

«Это невозможно!» – полушёпотом отвечает девушка.

«Хорошо! – произносит Жильберт. – Пойдем дальше». Он стиснул зубы, гордо распрямился и зашагал в сторону Липтовского замка.

Опечаленная Мариенка без слов последовала за ним.

Никто не обратил внимания на возвращающихся, ибо их прогулки были привычными.

Только два глаза заметили, что Жильберт выглядел гордым, властным, что взгляд его, подобно волнению морских глубин, блуждал из стороны в сторону, что на чело его налетели черные тучи так же, как на Полуднице собираются облака, чтобы надвигаться на Криван, неистовствуя и волнуясь над Липтовской долиной. Эти два глаза смотрели и на Мариенку, которая с закрытыми глазами, дрожа словно осина, переступила порог замка.

Это были глаза Ондраша.

V.

Впрочем, более ему не было нужды приглядывать ни за Мариенкой, ни за Жильбертом.

Мариенка утратила былую беззаботную резвость, встречалась с иоаннитом только тогда, когда не могла его избежать, и охотнее всего проводила время в одиночестве. Жильберт же более не докучал ей ничем и на вид выглядел спокойным, был приветлив с девушкой. К этому его вынуждали другие обстоятельства.

Так же как ветра поигрывают вокруг татранских исполинов и нашёптывают только им одним понятные всевозможные новости, до самых отдаленных липтовских земель доносились слухи о том, что король Ондрей, покинутый союзниками, со своим поредевшим от болезней, голода и холода войском возвращается в Венгрию.

Святомартинский аббат Уриаш направил в Липтовский замок гонца с весьма пространном письмом, в котором подтвердил слухи и призывал Жильберта с особой тщательностью стеречь границы и ту часть земанства, которая, короля принять не желая, призвала против него в Венгрию поляков.

Это известие словно горящие угли упало на голову Жильберта и сокрушило его внешнее спокойствие. Он сдвинул брови, нахмурил лоб, наклонил голову и что-то шептал сам себе, и жестикулировал, стремительным шагом прохаживаясь по комнате. Все надежды были разом уничтожены. Вот тебе сила, вот тебе слава! Вельможин, если уцелел, придёт, вернёт себе власть над Липтовом и над Северной Венгрией, а он должен будет убраться в Тренчин и принять комтурство без рыцарства, без

надлежащего имущества, без будущности, и оставаться в чужой стране изгнанником без положения и отличия!

«Слава миновала! – думалось ему, но одновременно он выпрямлялся, мотал головой и восклицал: – Нет! – И чувствовал боль в сердце, которая распространялась по правой половине тела. Пришла ему на ум Мариенка и зашумело в груди воспоминание об этом красивом, приятном невинном творении божьем.

Он остановился, сложил на груди руки, смотрел сверху вниз, качал головой и шептал: «Невозможно, невозможно! – но, поразмыслив, резко топал ногой и восклицал: – Что? Невозможно? Иоанниту всё возможно!»

Солнце перевалило за полдень, склоняясь на запад, оно уже начало прятаться за Татры, и только кое-где ещё заглядывало в Липтовскую долину. Жильберт направился к Мариенке и тихим, внешне спокойным голосом, держа её за руку, произнёс: «Мариенка, я принёс тебе новость».

«Какую, пан Жильберт?» – спросила девушка.

«Если Господь Бог даст, скоро увидишь отца, ибо король уже вернулся из Святой Земли».

Девушка вскочила, всплеснула радостно руками и закричала:

«Боже мой! Боже мой!»

Старый Ондраш, стоя поодаль, разом помолодел и с выпученными глазами с таким вниманием вслушивался в каждое слово, что чуть ли не повис на устах иоанита.

Жильберт же качал головой и продолжал: «Не радуйся так, Мариенка! Отец твой, вероятно, вернется домой печальный из-за неудачного похода, и Бог знает, что его ожидает».

«Оставьте меня в покое, пан Жильберт! Какое мне дело до ваших походов, если скоро я увижу своего отца и если больше он от меня никуда не пойдет. Только ничего, ничего мне более не говорите, – продолжала девушка восторженно. – Мы будем жить здесь так тихо, спокойно, словно в раю».

Сгустились сумерки, и ночь распростерлась над всей округой. Жильберт хотел уйти, но растроганная и пронизанная радостью Мариенка не хотела его отпускать и гладила ему руку, и улыбалась, и упрашивала, чтобы он остался и поговорил с ней о том, как это будет, когда придёт отец.

На башне протрубили.

«Что это?» – вскочив, спросил Жильберт.

Мариенка захлопала в ладоши и закричала: «Это они! Это они!»

Однако иоаннита это задело; он побледнел слово смерть и нижняя губа его задрожала. Он вскоре очнулся, схватил Мариенку за руку и произнес: «Нет, нет, девица моя! С войском ночью не ходят, в особенности через Ваг, нет; это какой-нибудь гонец. Ондраш, – обернувшись к нему, Жильберт произнес: – Пошли часовых спросить сигнальщика, кто это прибыл». Ондраш вышел.

Мариенка была не в себе, Жильберт строил разные предположения, но пришло время, когда на лестнице послышалось бряцание оружия и шпор в

перемешку с радостными восклицаниями Ондраша. Дверь отворилась, и в комнату вошел Имрих Алман.

На Жильберта это не произвело никакого впечатления, а вот девушка вскочила словно серна и бросилась на грудь своему жениху.

Иоаннит смотрел на это спокойным взглядом, сложив руки на груди, удивительные мысли мелькали у него в голове и заставляли вздыматься его грудь, поскольку, думаю, ещё никогда не чувствовал он себя таким одиноким на свете, не видел до такой степени отвергнутой свою симпатию к женщине, как сейчас. А сверх того, он любил Мариенку более всего на свете, любил тем более, чем менее она давала ему надежды на какую-либо будущность.

Он буквально сгорал из-за девушки.

В мыслях его не было ни малейшего сомнения в благоприятном исходе его страсти. На его взгляд, разумная девушка должна чувствовать, что его мужская сила стократ выше обычного общения девушки с обыкновенными юношами, и что слабая девушка склонится именно туда, где чувствует мужскую силу. Но он не подумал о различии характеров людей в Карпатах и в своей Франции, как не подумал о том, что движения человеческих сердец следуют различными путями.

Имрих снял стальные доспехи и после многочисленных вопросов, тотчас Мариенкой произнесённых, обратился к Жильберту со словами: «Доносят вам, панн комтур, различные удивительные известия, и потому я спешил к вам два дня и две ночи, чтобы как можно скорее дать вам знать о движении, разом вспыхнувшем не только в Венгрии, но и в наших северных столицах».

Жильберт разом посуровел, сел к столу и внимательно слушал Имриха, который говорил: «Так же как вы, пан комтур, непосредственно управляли Липтовом, Оравой, Турцом и Тренчином, так и мне поручили Зволен, Гемер, Спиш и Шариш, чтобы я ввел там порядки, в точности соответствующие заведенным вами. Был я как раз в Шарише, когда хозяин Шаришского замка вернулся из Святой земли со своим исхудавшим и поредевшим войском. Тут стали они удивительные вещи рассказывать. Наши счастливо добрались до Святой земли, сам король был первым среди тех, кто, ступая босым, целовал в Иерусалиме Святой Крест. Затем он отправился против арабов, обосновавшихся возле Бетсаида, и захватил укрепленный лагерь, где, как он думает, от данного ему яда, заболел, и по выздоровлении с исхудавшим и поредевшим из-за болезней войском повернул к дому, в Малой Азии дочь императора Теодора Ласпариса с сыном своим Белой обручил и с собой ее забрал. Подобным образом дочь Марию обручил с Асаном, королем болгарским.

После того как таким образом крестоносцы через чужие земли пробрались, вернулись они в свои владения, но по дороге на Будин пришлось им тяжелее, чем на чужбине. Дело в том, что венгерские магнаты, не желая подчиняться острихомскому архиепископу, притесняли не только беднейшее земанство, отбирая у них находившиеся поблизости владения, но вместе с тем и королевские доходы удерживали. Крестьяне же отказывались платить

епископии десятину и дани, и даже более того, начали от христианства возвращаться к язычеству, убивая сборщиков десятины и даней.

В таких условиях вступили крестоносцы на родную землю.

Король, а с ним и крестоносцы, всюду подвергались нападению своих же собственных людей; над приказами его магнаты только смеялись, не желая признавать его своим государем, и угрожали ему, что с ним случится то же, что случилось с его сыном Коломаном, которого галицкое земанство из страны, отцом ему отданной, изгнало. Но королю с крестоносцами удалось добраться до Будина».

Жильберт слушал рассказ Имриха внимательно, не сводя с него глаз. Затем расправил свои чёрные волосы со лба назад и произнёс голосом суровым: «Хорошо, коли так обстоят дела. Однако скажите мне, что говорят об этом паны из северных земель и особенно крестоносцы?»

Имрих отвечает: «Из Шариша я шёл на Спиш, оттуда в Гемер и Зволен, и всюду слышал схожее мнение о иерусалимском походе и о состоянии страны в Дольниках; все паны сходятся в том, что король, не имея сейчас, когда большая часть его приверженцев погибла в крестовом походе, никакой силы к сопротивлению, должен всеми силами стараться уступчивостью уменьшить возмущение. Думают также, что именно они призваны стать посредниками в споре между королем и дольницкими магнатами, и потому хотят добиться от короля привилегий для земанства, полагая это для себя приличным ещё и потому, что в крестовом походе понесли они большие потери; стало быть, они вполне заслуживают награды. На таких условиях согласны они и впредь сражаться за короля, несмотря на то, что поставлены словно меж двух огней между Галицией и Дольниками.

«Хорошо, Имришко, – замечает на это Мариенка, – но ты всё время говоришь о других, но только не о моём отце. Скажи, когда же мы его увидим и встретим?»

«Мариенка моя, подожди немного, – мягким голосом ответил ей Имрих, схватив девушку за руку, – услышишь и об этом. Говорят, король Ондрей жестоко опечален всем, что испытал при возвращении. Венграм, говорят, задумал пригрозить папским проклятием, если они не вернутся к повиновению, ибо заслуги его перед церковью велики, и земанство, которое как раз из крестового похода возвращается, его поддержит; против Галича всё же готовит войну, желая сына своего силой оружия назад водворить. Потому на какое-то время он задержал Вельможина для совета о походе на Галич, ибо знает, как много от него зависит, и насколько важно положение Липтовского замка».

«То есть всё хорошо, – замечает на это Мариенка, – но мне хотелось бы знать, когда я встречу родного батюшку?»

«Возможно завтра, возможно послезавтра», – отвечает Имрих.

Мариенка вскочила словно серна и на глаза её навернулись слёзы радости.

Жильберт вздрогнул, резко поднял голову и видно было, что все его мысли разом устремились к одному предмету. Он произнёс: «Вы думаете, что уже завтра либо послезавтра?»

«С уверенностью вам этого сказать не могу, – отвечает Имрих, – однако вернувшиеся паны так думают».

«Пойдём ему, Имрих, пойдём ему навстречу, – торопливо произносит Мариенка, – он будет рад нашему появлению, я его знаю, хорошо знаю».

Имрих покачал головой: «Нет, девица моя, я не могу. Я вам сказал, что без малого два дня и две ночи провёл непрерывно в пути, торопясь домой через родные земли, чтобы выяснить, что думают в наших краях, и чтобы я мог твоему отцу тотчас по его прибытию дать верный совет, ибо знаю, что от этого для него очень многое, едва ли не всё будет зависеть».

Сейчас я так утомлён, что должен отдохнуть».

«Вы правы, пан Алман, – сверкнув взглядом, произносит Жильберт, – отдохните, а я тем временем могу вместе с Мариенкой пойти навстречу пану Вельможину».

Старый, никем не замеченный в углу стоящий Ондраш принялся чихать и кашлять, и что-то бормотал себе под нос, но никто не обратил на него внимания.

«Не возражаю, пан Жильберт, если будете так любезны, – ответил Имрих, – только не задерживайтесь, поскольку нам ещё надлежит сделать приготовления к приёму хозяина дома, как бы он ещё сегодня либо завтра не возвратился; а как вернётся, то нам, верно, времени совсем не оставит».

«В самом деле, Имричек, я могу идти с паном Жильбертом? – спросила с любопытством Мариенка.

«Глупышка, почему бы не пойти, ведь вы скоро вернётесь, – отвечает Имрих, – но сейчас пора спать, и без того уже за полночь».

«И всё же потерпите ещё немного, – произосит иоаннит. – С какой стороны придёт пан Вельможин, чтобы нам с ним не разминуться и вас утром не будить?»

«Самая лучшая дорог к нам из Будина, – отвечает Имрих, – через Боршодом и Гемер, потому без сомнения он придёт Чертовицей через Храдку. А сейчас спокойной ночи!»

«Спокойной ночи!»

VI.

Хорошо спится в нашей здоровой горной местности в чистом ночном воздухе, и в Липтовском замке хорошо спалось всем – кроме двоих.

Были это Жильберт и – Ондраш.

Иоаннит пришёл в свои покои, снял с себя верхнюю одежду и с руками сложенными на груди ходил взад-вперёд по комнате.

Странные мысли сновали в его голове, и странные чувства играли в его груди, ибо сколько раз он останавливался внезапно и ещё более стремительным шагом пересекал пространство комнаты. Сколько раз голова его склонялась к груди и кольца змеистых чёрных волос рассыпались вокруг лица, словно желали скрыть его неестественную невыразительность, голова вновь вскидывалась вверх, и от малейшего сотрясения волосы, словно слуга по приказу хозяина, занимали прежнее положение и открывали нахмуренный лоб, выпуклые и огнём горящие глаза, судорожно перекошенное лицо и лихорадочно двигающиеся губы. Рука опускалась и тут же стискивалась в узловатый кулак, что свидетельствовало о чувствах в груди, которые подобно водам Вага то тихо, то бурно плещутся.

Наконец самому себе прошептали уста: «Иоаннит никогда и нигде не отступает от своих намерений, и тебя, Жильберт, к твоему вечному счастью либо к вечным мучениям всего лишь один шаг способен привести. – Сейчас или никогда!»

И стиснул зубы, схватил стремительно плащ и одетый бросился на постель.

Ещё не забрезжил рассвет, а он уже встал, надел панцирь, укрепил на поясе длинный широкий меч, надел на голову шлем и спустился во двор.

Словно тень, по пятам его следовал старый Ондраш, звук его шагов заглушало бряцание длинных шпор иоаннита.

Прежде всего Жильберт распорядился оседлать двух коней, затем он пошёл в караульное помещение и приказал начальнику караула никого из замка не выпускать, куда он не вернётся, из своих собственных людей взял двоих при оружии и поспешил с ними вверх по лестнице.

Ондраш следовал за ним ещё более тихим и осторожным шагом, пока они не пришли к покоям Имриха.

Жильберт поставил своих слуг к дверям, ведущим в покои, где спал Имрих, повернув в замочной скважине ключ и, забрав его, отдавал слугам своим приказы на чужом языке, которого Ондраш не понимал, но от которого он настолько не ожидал ничего хорошего, что его даже холодный пот прошиб. Однако, что делать? Он вытер со лба холодный пот, повернулся и направился в другой конец замка к своему дитяти – Мариенке.

Тут все уже были на ногах, а Мариенка готова в дорогу, нетерпеливо ожидая прихода Жильберта, но вместо него вошел старый Ондраш.

«Где ты бродяжничаешь, грешный человек? – спросила панна. – Я должна идти, а ты не приходишь прислуживать».

«Нет времени говорить об этом! Прошу вас, прошу вас и заклинаю именем отца, во имя всего святого, не ходите, не ходите с этим чужим человеком!» И старик упал на колени.

«Ты не выспался, старик, – рассмеялась девушка. – Ступай. Ничего не делает, а заспанный».

Тут на пороге в полном одеянии своего ордена появился иоаннит, и хотя весь вид его более чем когда-либо прежде выражал суровость и властность, на лице его играла улыбка, и уста промолвили нежно: «Ну и ну, Мариенка!

Должно быть, это ревностный любовник, коль скоро он так нежно прощается, а спустя несколько часов будет повсюду разыскивать!»

«Оставьте его в покое, чудака, – отвечает девушка, – он не выспался, а в его возрасте это сильно вредит. Ну, пойдём?» – спросила она его.

«Я готов», – ответил иоаннит, взяв девушку под руку.

«А зачем вы сегодня, пан Жильберт, так облачились? Надеюсь, опасность нам не грозит?»

«Нет, – улыбнувшись, отвечает Жильберт девушке, – просто, когда я должен приветствовать кого-то выдающегося, я приветствую его в наряде, который приветствуемому оказывает почет».

«Понятно. Ещё одно, пан Жильберт. Нам надо бы с Имрихом проститься».

«Оставьте его в покое, – отвечал иоаннит, – вы же знаете, что он так хотел отдохнуть».

«Хорошо, – продолжала Мариенка, – но я потихонечку, на цыпочках пройду к нему, чтобы его увидеть».

«И этого не нужно делать, ведь ты можешь разбудить его».

«Тогда подойдём хотя бы к двери покоя, где он спит, и там с ним попрощаемся».

«Ты упрямая девушка, пусть будет по-твоему! Уезжай мы надолго, я слова бы не сказал, а мы, надеюсь, через пару часов назад вместе с отцом вернёмся, и тогда сиди себе с Имрихом сколько тебе захочется».

При этих словах длинным коридором приближались они к покоям Имриха. Увидев тут вооруженных людей, спросила девушка: «Зачем здесь стоят эти люди?»

«Есть такой обычай, – был ответ, – важным персонам дают почетный караул отчасти для охраны, отчасти для услуг, на случай если бы им что-то потребовалось».

«Храни тебя Бог, Имришко», – произнесла на это девушка. Улыбаясь, кокетничая, вприпрыжку спустилась она в обществе своего провожатого во двор, села на одного, а он – на другого коня, ворота замка закрылись за ними и они неспешно удалялись по правой стороне хребта, простирающегося между Просеком и Ружомбероком, беседа о Вельможине и о скорой встрече с ним.

Меж тем в Липтовском замке поднялся переполох.

Когда Мариенка ушла с Жильбертом, старый Ондраш ещё стоял на колеях, но едва они отдалились, тут уж старик ни секунды не мешкал, он с трясущимся подбородком сломя голову помчался по ближайшей лестнице вниз во двор замка, а оттуда так легко, словно восемнадцатилетний юноша, вверх на башню. Ворота опустились, старик приставил к глазам ладонь, чтобы лучше видеть, а когда разглядел, что Жильберт с Мариенкой направились не по дороге, вверх к Градку, а вниз к Ружомбероку, бил себя по лбу и сам себе говорил: «Раны Христовы! Ведь пан Имрих сказал, что наш господи вернется Липтовской долиной!» И словно бы юношеской силой освежённый, летел он вниз с башни, разбудил слуг Имриха, приказал им

вооружиться, вкратце рассказал об опасности, которая угрожает их господину, и пошёл с ними, взяв первую попавшуюся дубину, к покоям Имриха.

«Открывайте двери!» – закричал он на стражников.

«Тихо! Назад!» – отвечали они.

«Я тебе дам назад! – прокричал раздражённо старик. – Если сей же миг не откроешь, так получишь по своей постной морде, что её кровавой подливкой зальёт! Пало, хватай его!»

Пало хотел это сделать, но его оттолкнули так, что остановился он только возле противоположной стены. Но Ондраш поднял дубину и так ударил стражника по голове, что тот упал без чувств, а когда второй стражник мечом в Ондраша нацелился, в тот же миг двое слуг Имриха повисли у него на руках, а старик ухватил его за ноги и так дёрнул, что тот на землю упал.

«Держите его, держите, – крикнул Ондраш, – а ты, Пало, ступай, приведи наших слуг с топорами и кирками!» Сам же он вскочил, взял в руки дубину и колотил ею в двери покоев, так что грохот по всему замку разносился, и кричал: «Пан Имрих! Пан Имрих, вставайте, беда!»

Он бил и колотил.

А когда Имрих отозвался, чтобы открыли, закричал Ондраш: «Откройте вы!»

Ондраш рассказал Имриху: «Паныч! Этот чёрный монах увел Мариенку, а вас тут запер, забрав ключ с собой и приказав страже, чтобы из замка никого не выпускали. А тут лежат его люди, которых он поставил к вашим покоям и отдал им приказ на чужом языке. А сейчас, – повернулся старик к поваленному стражнику и приставив ему к шее его же меч, говорил, – сейчас признавайся, ты, негодяй, подонок, мерзавец, зачем тебя твой господи на страже поставил? Иначе отправим тебя туда, откуда никогда до Липтова не доберёшься».

Тот, чувствуя на шее холод железа, сказал: «Пан комтур приказал нам стоять тут и до его возвращения под страхом смерти никого внутрь не пускать, а если кто-нибудь из покоев выйдет, в тот же миг его уложить».

«Видите! Видите, пан Имрих! Поднимайся! Эй, Пало! Седлайте коней! Вперёд, вперёд!»

Имрих уважал и безмерно ценил Жильберта за его осмотрительность в делах военных, и потому не знал, что и думать об этом, однако раздражённое усердие старика и ответ стражника привели к тому, что он немедленно вооружился и спустился во двор, отыскивая старого Ондраша.

Тот уже держал осёдланных коней и словно начальник говорил Имриху: «Садимся и едем за ним. Он заморочил голову Мариенке, когда вас тут не было, а сейчас увёл её, направившись не вверх, а вниз по Вагу; он вас запер и приказал убить! Вперёд, вперёд!»

И Имрих, не зная, что ему предпринять, старательно следуя за возбуждённым слугой, сел на коня и позволил увлечь себя.

В воротах их остановил вратник.

Тут старый Ондраш начал: «Ах ты болван! Ты решето! Ты проходимец! Ты старое помело! Разве ты не видишь, что это наш будущий господин, а ты всё ещё слушаешься приказов монаха?!» И так дал ему по уху, что тот упал, и приказал отворить ворота.

Помчались потом Имрих с Ондрашом и слугами вниз к Ружомбероку, никого догнать не в силах. И стали беспокоиться из-за нескорого результата их предприятия; но сегодня неунывающий и на удивление взволнованный старик и тут нашёл решение.

«Постойте, – сказал он, – немного». И соскочил с коня, упал а землю, приложил ухо к земле и долго прислушивался, пока наконец не покачал пальцем и тихонько произнес: «Подождите, вот они, но только не пойму, почему топот двух коней всё сильнее и сильней отзывается».

Высказывание Ондраша было верным, хоть он и не понял причины приближения топота.

Жильберт, возбуждая воображение Мариенки образами скорой встречи с отцом и рассказами о тяготах путешествия в восточные страны и об опасностях во вражеских краях, но особенно в Святой земле, коротал за разговором дорогу, так что сами они не заметили как оказались на холме рядом с Ружомбероком.

Тут разом перед их взором развернулось чистое поле, лежащее между Ружомбероком, Белым Потокком, Штявницей, Теплой и Лискавой, и веером с вершин нижнюю Липтовскую долину окружающих с юга, овевал эту равнину ветер и нагибал колосья, поле покрывающие, что выглядело словно бег морских волн, подгоняющих друг друга.

Меж этими волнами луч солнца, отразившись от шлемов, открыл присутствие целого вооруженного отряда.

Мариенка закричала в восторге, замахав руками: «Отец мой, отец мой!»

Жильберт посмотрел на неё ястребиным взглядом, бросилорлиный взор на новое явление и мгновенно догадался, кто идет ему навстречу. Вельможин приближался другой дорогой.

«Да, Мариенка, – ответил полуспокойно Жильберт, – и мне так кажется, что это будет твой отец! Но поторопимся, чтобы они нас не обогнали, поскольку тут нет ни брода, ни челноков, и потому они должны всей толпой в другом месте на противоположный берег перебираться».

Девушка послушалась в восторге своей души, и поскакали они вдвоем взгорком над Вагом лежащим.

Тут прозвучало сверху: «Остановитесь, остановитесь!» – и оба, Жильберт и Мариенка, вскрикнули одновременно. Жильберт сказал: «Ну, если я не могу тебя взять и должен погибнуть, так погибнем вместе!» И схватил девушку за руку, мудорожно дал шпоры стремительному темпераменту своего коня. Конь встал на дыбы, но скала, на которой они как раз остановились, вздрогнула. Она загрохотала под тяжестью коня и всадника, меч зазвенел и черный плащ зашумел словно злой дух в воздухе, пока и коня, и седока не накрыли там внизу, под крутизной, под отвесной скалой рычащие и шипящие волны серебристого Вага.

Девушка вскрикнула, увидев Имриха и Ондраша, потянула коня назад за узду, конь встал на дыбы, выдернул руку своей госпожи из руки монаха и выбросил её из седла на зелёную траву, растущую над самой пропастью.

VII.

Жильберта тихо похоронили на том месте, откуда он вниз с обрывистого берега в Ваг улетел. Поэтому народ прозвал тот утес Монахом.

Мариенку полумертвую доставили в Липтовский замок, где за ней и отец, и жених и почти непрерывно проливающий слезы Ондраш присматривали.

Вельможин стал самым главным советником короля Ондreja, и прежде чем отправиться в Будин, он сыграл такую свадьбу своего дитя с Имрихом Алманом, какой славный Липтов никогда не видел, поскольку в ней не только земаństwo столицы участвовало, но Коломан от имени отца, короля Ондreja, был сватом, а аббат Уриаш снова прибыл в Липтов, чтобы обвенчать молодых.

Никого это так не утешило, как старого Ондраша, поскольку он всегда хвалился перед целым светом, что он пана Вельможина, придя в Липтов, на спине носил, Мариенка же его собственное дитя, а её дети – настоящие внучата. Об этом он по сто раз в день рассказывал, какой он был мудрый, какой сильный, как хорошо видел и слышал, когда догонял монаха, и что без него они никогда света божьего не увидели бы.

Имрих жил спокойно с доброй, весёлой женой своей. Лишь когда приходил иногда на память Жильберт, тут обыкновенно начинал он морщить лоб. Но Мариенка, бывало, погладит его по лицу и запоет:

*Ej, Imriško, Imrich,
nebude z teba mních,
ani zo mňa mníška,
bo ľúbim Imriška.*

*Эх, Имрих, Имрих,
не получится из тебя монаха,
а из меня монашенки,
ибо мы любим, Имришко.*

И всё было хорошо.